

ISSN 0131-6222



10

1988

евер

Эйно КАРХУ

Эйно Генрихович КАРХУ родился в 1923 году в Ленинградской области. Доктор филологических наук. Автор девяти книг и многочисленных статей по истории финской литературы, финско-русским литературным связям, литературе Советской Карелии. Член Союза писателей СССР. Лауреат Государственной премии КАСССР. Живет и работает в Петрозаводске.



„МАЛАЯ ЛИТЕРАТУРА“ В ОБЩЕИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

1

ТОЛЧКОМ к написанию этих заметок явилась практическая необходимость: время требует по-новому взглянуть на некоторые наши местные литературные дела как в современном, так и историческом срезе.

Переживаемый обществом процесс критического самоочищения и самообновления охватывает также науку. В ней наместились существенные перемены, способствующие тому, чтобы овладеть действительным положением вещей и продвигаться вперед. Предостаточно было и в науке благонамеренных умолчаний, самообмана, принудительно-угодливой конъюнктурщины, чтобы больше не потворствовать этому. В современных дискуссиях ставятся вопросы о повышении роли научной этики, бескомпромиссной объективности, исследовательской культуры в целом. Словом, пришла пора извлекать из прошлого уроки, чтобы общественные науки прежде всего могли вернуть должное уважение к себе.

Естественно, основные дискуссии, в том числе о состоянии нашего литературоведения и литературной критики, разворачиваются на страницах центральных изданий, начиная от массовой печати и кончая солидными академическими журналами. Полемические схватки нынче интересны и захватывающи, за ними следит множество людей также на периферии, хотя ошутимого непосредственного резонанса в местных журналах они пока и не получают.

Об уроках прошлого на основе именно нашего местного опыта мне и хочется поговорить в предлагаемых заметках. Во вступительной своей части они будут иметь даже несколько мемуарный характер, хочется начать с некоторых штрихов собственной вузовской подготовки, более или менее типичных для тогдашнего состояния филологической науки и царившей в ней атмосферы.

Люди моего поколения учились в вузах и затем в аспирантуре в первое послевоенное десятилетие, очень трудное во многих отношениях время. В особенности первый послевоенный год преподносил в материальном

отношении такие испытания, которых не выдерживали подчас даже ко всему претерпевшиеся демобилизованные фронтовики. Если отсутствовали дополнительные источники существования, одна студенческая продкарточка могла и до дистрофии довести. Некоторые предпочитали поискать что-нибудь другое и бросали университет — в данном случае речь идет о Петрозаводском (тогда Карело-Финском) университете, куда я поступил осенью 1946 года.

Конечно, была молодость, была неостывшая радость Победы, было счастливое и благодарное чувство, что судьба все-таки пощадила нас, живых, — ведь из тогдашних молодых в войне уцелели немногие. В послевоенных вузовских аудиториях мужчины были редкостью, да и те больше со шрамами и увечьями.

При всей неустроенности послевоенного студенческого быта университет был тем не менее для таких, как я, первым соприкосновением с миром интеллектуальной жизни. Чертовски хотелось учиться, за войну люди изголодались не только по хлебу, но и по знаниям, по духовной жизни. Однако никакой особой подготовки к вузовской учебе у большинства не было, не хватало начитанности, даже обычной школьной грамотности. Помню, как на всех факультетах и курсах был проведен школьный диктант, после чего потом пришлось организовать массовый «ликбез».

Были трудности с преподавателями, в том числе на только что созданном тогда финно-угорском отделении. Некоторые учебные курсы читались не специалистами, приходилось привлекать малоподготовленных людей. А некоторые курсы из-за отсутствия преподавателей остались вообще непрочитанными, и первому выпуску предложили завершить учебу в четыре года вместо пяти.

Но все это воспринималось тогда как «трудности роста», к тому же Петрозаводску помогали Ленинград и другие города. Одни, более молодые преподаватели переезжали сюда на постоянную работу, другие, более

маститые, бывали наездами для чтения спецкурсов. На не очень ярком общем фоне были среди них и по-настоящему талантливые ученые и педагоги. Назову трех самых значительных, лекции которых я слушал еще студентом и труды которых представляют интерес для меня до сих пор. Основателем финно-угорского отделения и в Ленинграде и в Петрозаводске был Д. В. Бубрих, член-корреспондент АН СССР, крупный лингвист, автор трудов по финно-угорским языкам. В Петрозаводск приезжал из Ленинграда читать курс зарубежной литературы Н. Я. Берковский, и в Петрозаводске начинал работать молодой Е. М. Мелетинский, ныне признанный специалист по мифологии, фольклору, исторической поэтике, работающий на исключительно широком мировом материале.

По общей филологической культуре, широте эрудиции, знанию языков, превосходной памяти, позволявшей свободно ориентироваться в огромном материале, эти ученые-педагоги были для нас, тогдашних студентов, в известном смысле недостижимы, и в то же время они являли живой пример того, что настоящая филологическая образованность — это нечто очень серьезное, а не просто «бесконкурсный» факультет, на который поступают в ожидании скорого замужества или подходящей профсоюзной должности.

Однако для атмосферы тех лет очень показательным, что у всех этих ярких людей тогда были крупные неприятности по работе, в жизни, в судьбе. Таланты выделялись из общей массы, их нельзя было не заметить, и при неблагоприятных обстоятельствах они становились не предметом восхищения, а объектом зависти, подозрительности, открытым нападкам и противозаконным обвинений.

Теперь, когда о периоде культа личности становится известно все больше фактов и когда многие тогдашние явления подвергаются все более решительной переоценке (в самих употребляемых ныне терминах типа «бериевщина», «ждановщина», «лысенковщина» выражается нарастающая общественная неприемлемость), легко спроецировать кое-что из сегодняшнего нашего сознания в послевоенное сознание. К очень многому отношению тогда было другое, многое оставалось неясным, проводившиеся массовые митинги с одобрением или осуждением чего-либо не рассеивали в головах сумятицы, не на все у студентов хватало и интереса. И все же мало-мальски думающий человек не мог не заметить, что обстановка все более отклонялась от нормальной: она заставляла либо замыкаться в себе, либо порождала крикливых демагогов как среди студентов, так и среди преподавателей. Иной преподаватель, будучи не в состоянии толком ответить на лобознательный вопрос в чем-то засомневавшемуся студента, мог попросту грубо осадить его оскорбительным политическим намеком, после чего вопросов уже не следовало. Право на сомнение, самостоятельность мысли, возможность до всего докопаться самому ради личной убежденности — все это не поощрялось, а то и вовсе пресекалось.

Много вреда настоящей образованности принесло разнузданное критиканство и невежественное неуважение к классическому наследию. Приведу только один пример. На лекциях по общественно-философским да и филологическим дисциплинам тогда было

принято без конца поносить Гегеля, включая его эстетику. А если находился студент, который шел за томами Гегеля в библиотеку, его могли встретить вопросом: «А зачем вам?» — и отказать. Методом команд и запретов учили *ругать, не читая, славословить, не задумываясь*. И такое происходило не только с Гегелем и другими западными знаменитостями, но и со многими русскими мыслителями, писателями, учеными мирового значения. Публично ругали «Бесов» Достоевского, но роман было негде прочитать; громили труды А. Н. Веселовского, переиздавать которые, кстати сказать, собираются только теперь. Даже специалисты-исследователи зачастую не могли пробиться ко всем исследуемым материалам, даже к книгам и журналам советского периода. Как тут не родиться искушению «судить, не читая!» Вот как описывает М. Чудакова недавнее, да и сейчас еще не до конца преодоленное положение с изучением советской литературы 20-х годов: «Пишут дипломы и даже диссертации, толкуя непрочитанные произведения и оценивая никогда не выданные альманахи и журналы. В издательстве же говорят: что вы ссылаетесь на то, что все равно прочесть никто не сможет». («Вопросы литературы», 1987, № 9, с. 19).

Когда уже во второй половине 50-х годов я впервые смог купить в Ленинграде гегелевские «Лекции по эстетике» (немецкоязычное издание, ГДР) и протрудиться их в меру своих способностей, удивлению моему не было конца. Примерно тогда же на одном из представительных совещаний в Москве известный советский литературовед произнес запомнившиеся слова: «Вслух мы долго ругали Гегеля, а втайне бесовестно обкрадывали его». И далее уже совсем полемически резко: «Если на одну чашу весов положить всю домарковскую материалистическую эстетику, а на другую одного Гегеля, последний перетянет». При всей полемической заостренности он был в общем-то прав. Ведь известно восхищение классиков марксизма исключительным богатством содержания гегелевской «Эстетики».

Теперь, когда с прискорбием сожалеем иногда о том, что наша филология и вообще гуманитарные науки в чем-то важном утратили связь с классическими традициями, с тем лучшим, что было в прежнем гуманитарном образовании, представляется, что самый резкий и бесцеремонный разрыв с этими традициями произошел как раз в послевоенное десятилетие. Например, стало как-то совсем не зазорным для профессиональных филологов (бывает, даже с именем!) вообще не владеть ни одним иностранным языком, хотя уже это обстоятельство по существу изолирует исследователя от развития мировой науки. После шумной «борьбы с космополитизмом» и «низкопоклонством перед иностранщиной» незнание языков стало расцениваться чуть ли не как патристическая добродетель. Разумеется, среди советских филологов есть и блестящие полиглоты, на их фоне только и вывернется общее состояние филологической культуры.

Что касается языковой подготовки в университетах, не мешало бы кое-что позаимствовать из практики соседей. Бывая в научных командировках в Финляндии и работая в библиотеках тамошних университетов, я

обратил внимание, в частности, на следующее. Большое количество иностранных книг и журналов на всех ведущих языках мира там размещено в просторных залах с абсолютно открытым доступом — подходи к полкам и бери любое издание, классику или новинки, все под рукой, все можно просмотреть тут же, а при необходимости немедленно снять ксерокопию (ксерокопированная книга дешевле типографской). Нужно ли доказывать, как подобная система облегчает постоянный контакт студентов и преподавателей с иностранной научной и художественной литературой, периодикой, как все это поддерживает интерес к языкам. Поэтому знание четырех-пяти языков среди финских интеллигентов вовсе не редкость, а для филологов тем более. Этому способствует и то, что они много ездят в зарубежные страны, знание языков стало жизненной необходимостью.

С поступлением в аспирантуру (по истории финской литературы) и выбором исследовательской профессии языковая проблема встала всерьез и передо мной. Финляндия — двуязычная страна, заниматься ее культурой без знания и финского и шведского языка весьма-таки затруднительно. В овладении шведским (в пассивном варианте, то есть свободно читать, но не говорить, для чего нужна особая практика) мне помогло относительное (тоже преимущественно пассивное, для свободного чтения) знание английского и немецкого — все это германские, родственные языки.

По-своему проблемой стал и финский язык. Когда-то я проучился пять классов в финноязычной школе, еще совершенно не зная русского языка. Потом внезапно, без всякой предварительной подготовки пришлось перейти в русскую школу, где больше года ушло только на то, чтобы научиться хоть как-то следить на уроках за объяснением учителя. Потом русский язык был усвоен уже хорошо, а финский стал забываться — можно сказать, что в лучшем случае он в пассивном виде законсервировался на уровне языка двенадцатилетнего ребенка. В университет я поступил с весьма посредственным знанием финского, да и за годы учебы особых сдвигов в разговорном языке не произошло. К великому сожалению, язык, даже изначально родной, при неблагоприятных условиях очень легко забыть, но его чертовски трудно выучить заново! Русский язык и сейчас остается для меня основным, более активным языком, говорю и пишу я на нем чаще, чем на финском.

В Финляндии меня иногда спрашивают, каким образом я, гражданин страны с всемирно известной великой литературой, вдруг решил посвятить себя изучению куда более скромной литературы маленького народа. В подобных вопросах слышишь наряду с удивлением и явное удовлетворение спрашивающего: все-таки приятно, что по соседству все-таки интересуются твоей родиной, языком и культурой.

Не могу умолчать, однако, и о другой стороне медали. В 40—50-е годы, когда я только с робостью приобщался к своей профессии, отношение к финской литературе у нас было довольно сдержанное, а в Финляндии бытовали свои предубеждения даже по отношению к русской классике. Что там ни говори, Финляндия воевала на стороне Гитлера. И хотя

уже вступил в силу советско-финляндский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1948 года, требовалось время, чтобы накопившееся недоверие рассеялось. Со стороны некоторых наших ответственных товарищей доводилось слышать, что финская литература чуть ли не сплошь заражена духом национализма и милитаризма, даже творчество писателей XIX века; что она идеологически «незрелая» и мало созвучна современному прогрессивному миропониманию; что только очень немногие финские авторы, в порядке редкого исключения, заслуживают исследовательского внимания.

Хотя открыто полемизировать с такими мнениями тогда было практически невозможно, они вызвали внутренний протест. Даже здоровый инстинкт подсказывал, что не может быть «националистическим» и «реакционным» целый народ. А если на определенном этапе этот народ действовал почему-то не так, как предписывали отвлеченные закономерности всемирной истории, то и в этом случае разумнее исходить из восторженного изучения конкретной истории данного народа, его культуры. Мне как раз и хотелось заняться последовательным и систематическим исследованием истории финской литературы — с марксистских позиций, опираясь на опыт советского литературоведения в изучении зарубежных литератур. На первых порах было важно отыскать наиболее ценные и полезные работы, которые могли бы послужить образцом. Много дали мне, в частности, книги Н. Я. Берковского, Б. Г. Резиова, других советских исследователей по западно-европейскому романтизму — ведь почти весь XIX век в истории финской литературы прошел под знаком романтизма, а затем был еще «неоромантизм» начала XX века.

2

Теперь перейду непосредственно к проблемам карельской литературы, изучением которой вместе с коллегами по работе мне также приходилось периодически заниматься.

В настоящее время сектор литературоведения Института языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР, где я работаю, приступил к подготовке трехтомной «Истории литературы Карелии». Идея эта долго вынашивалась нами, к ее практической реализации нас поощряли вышестоящие академические инстанции, в первую очередь Отделение литературы и языка Президиума АН СССР, ведающее координированным планированием филологических исследований в стране. Теперь работа включена в официальный план в качестве пятилетней темы.

Предполагается, что тома «Истории» будут по 15—20 издательских листов каждый; первый том посвящается фольклору, второй — литературе на финском и карельском языках, третий — творчеству русских писателей республики. Предварительно авторским коллективом многократно обсуждались и общие принципы построения труда, и проспекты отдельных томов, и рукописи первых пробных разделов. Предприятие достаточно серьезное, чтобы все максимально взвесить, особенно в нынешнее переломное время, когда многое подвергается строгой и справедливой переоценке.

Разумеется, в новой «Истории» должны

быть учтены все предшествующие исследования по литературе Карелии, систематическое изучение которой, в том числе в рамках академической науки, ведется уже в течение нескольких десятилетий. Опубликованы работы и частнопроблемного и обобщающего характера, включая «Очерки литературы Карело-Финской ССР» (авторы Л. Виролайнен и К. Чистов, 1954 г.), «Очерк истории советской литературы Карелии» (большой коллектив авторов, 1969 г.), обзор современной литературы «В краю Калевалы» (Э. Карху, 1974 г.), ряд работ М. Пахомовой, Ю. Дюжева, Э. Алто и других авторов. О теме Карелии в истории русской литературы и фольклористики основополагающими были исследования покойного В. Базанова, очень много сделавшего для развития карельского литературоведения в целом. Защищено несколько диссертаций по творчеству карельских писателей, с конца 50-х годов ведется постоянное библиографирование (выпуски «Летописи литературной жизни Карелии»). Словом, набирается немало исследований и по литературе и по фольклору, накоплен опыт, который должен быть критически осмыслен и использован.

Однако при всем этом планируемая «История» не может не мыслиться как принципиально новая обобщающая работа, отражающая современный уровень общественного сознания.

Она может быть в какой-то степени новой и по привлеченному фактическому материалу.

Помню, когда в середине 50-х годов только начиналась моя исследовательская работа, в карельских журналах обсуждался как раз вышедший незадолго до того «Очерк литературы Карело-Финской ССР» Л. Виролайнен и К. Чистова. Ситуация была не из обычных, очень показательная для тогдашнего переломного момента. Книгу подготовили вполне квалифицированные авторы, но поскольку она писалась и вышла еще до XX съезда КПСС, из нее выпали все репрессированные в 30-е годы писатели, фактически вся национальная ветвь карельской литературы довоенного периода (за исключением Леа Хело). Отклики на книгу продолжали появляться уже после XX съезда, и критика тогда лишь только приучалась выдвигать новые задачи.

В подготовке «Очерка» 1969 года участвовал уже и я как один из авторов и редакторов, поэтому весь долгий процесс работы над ним в постепенно изменяющейся общественной обстановке мне особенно памятен.

В частности, на первом этапе работы, еще на рубеже 50—60-х годов, открылся доступ к некоторым архивным документам. Особенно потрясли нас тюремные письма Рагнара Руско (Нюстрема), незадолго до того переданные на архивное хранение его вдовой. Рагнар Руско был поэтом и театральным деятелем, основателем и руководителем Финского драматического театра в Петрозаводске. Письма написаны между декабрем 1937-го и мартом 1938 года, адресованы жене, малолетнему сыну, некоторым знакомым, а одно из предсмертных писем Руско направил О. В. Куусинену как члену исполкома Коминтерна. Из этого письма особенно ясно, что творившееся тогда беззаконие было для Руско не только его личной трагедией, но ударом по партии и международному пре-

стижу социализма. В момент написания письма Руско был уже предельно истощен и смертельно болен, сознавал свою личную обреченность, но вера в идеалы социализма оставалась в нем несокрушимой. Из писем видно, что то, что случилось с ним и его товарищами, первоначально казалось ему до невероятности нелепым недоразумением, которое должно было развеяться сразу же, как только им дадут возможность фактами отвести ложные подозрения и обвинения. Когда же обнаружилось, что следствие глухо к самоочевидным фактам, Руско и тогда не усомнился в конечном торжестве правды. В его письмах нарастали гнев и возмущение, он видел слишком много подобных себе жертв произвола; ложь и клевета не могли длиться вечно, партия, писал он, вернет ему доброе имя коммуниста, «большевики восстановят истину и справедливость... Я большевик!»

Огромным зарядом нравственной чистоты, душевного благородства и нежности наполнено письмо Руско девятилетнему сыну. Это было как бы его духовное завещание в предчувствии неотвратимости конца. Стараясь как-то объяснить детскому разуму случившееся, отец просил сына-школьника положить перед собой карту Советской страны и мысленно последовать за отцом в далекую Сибирь, через Красноярск и Иркутск, Читу и Улан-Удэ, до маленькой станции Раздольная. «Вот здесь,—продолжал свой скорбный урок отец,—мы и остановимся и дальше пойдем пешком. У подножия двух высоких гор расположен низкий барак, это и есть мое теперешнее жилище. Здесь я—заклученный. Ты спросишь: почему? Милый мой мальчик, этого я сам не знаю, никак не могу понять. В наших беседах с тобой мы всегда делили мир на две половины: красную и белую. И ты знал, что я—красный, что я—коммунист. А вот теперь меня бросили в тюрьму свои же красные и только потому, что некоторые товарищи заподозрили во мне белого... Милый мой, не верь, я не белый. Никогда не смогу я стать белым! И все же мне придется отбыть здесь десять лет заключения—без всякой иной причины». Далее отец объяснял, что полнокровной человеческой жизнью он прожил только семнадцать лет, то есть годы после приезда в Советский Союз, страну надежд и социальной нови. «А теперь пришел мой конец, пришла пора умереть, ничего более удивительного. Я умираю поистине молодым, ведь человеческой жизнью я прожил только семнадцать лет... Жаль, конечно, но ничего не поделаешь.

Ты же, мой мальчик, сможешь прожить свою жизнь вполне. И мне очень хочется верить, что ты проживешь ее правильно. Что ты вырастешь и станешь настоящим советским человеком, превыше всего любящим свою страну и ее народ. Люби жизнь, мой мальчик! Люби жизнь—она хороша и прекрасна!»

Эти письма Рагнара Руско и сейчас невозможно читать без волнения. А тогда они совершенно потрясли нас и даже в литературном отношении показались едва ли не самым сильным из всего его наследства. Выражение «написаны кровью» здесь даже и не совсем метафора; сжатость своего стиля Руско объяснял в письме О. В. Куусинену жесткими обстоятельствами: за каждый листо-

чек бумаги в лагере приходилось расплачиваться трехдневной пайкой хлеба.

Поскольку для тогдашнего «Очерка» я писал главу о литературе 30-х годов, мне казался естественным использовать и письма Руско, сообщить о факте их существования, процитировать самое впечатляющее в них. Было ясно, что это ценнейшие человеческие документы, документы эпохи, свидетельства страданий и высокого благородства духа, тем более что от других погибших карельских писателей таких документов не имеется.

К сожалению, подготовка коллективного «Очерка» тогда затянулась, наступили «застойные годы», и то минимальное из тюремно-эпистолярных цитаций, что еще проходило на стадии многократных обсуждений рукописи, затем было окончательно снято на издательской стадии. Об этом приходится сожалеть еще и потому, что без таких документов драматизм эпохи передать трудно, общих формул и констатаций недостаточно, история, как теперь принято говорить, начинает выглядеть «безлюдной».

Пишу об этом и потому, что общий листаж планируемой «Истории» будет значительно превосходить прежние «Очерки», ее тома пополнились более детальным и отчасти новым фактическим материалом. При этом подразумеваются отнюдь не только «тюремные», но самые разнообразные материалы, представляющие историческую ценность. Во всяком случае, открывается такая возможность для объективной детализации истории и наполнения ее многосторонним содержанием.

3

Однако главная забота все же о том, чтобы «История» получилась по-настоящему проблемной, масштабной по глубине исследовательской мысли.

Как известно, основным методологическим принципом советского и вообще марксистского литературоведения, тем более в историко-литературных трудах, является принцип историзма. Это очень емкое и ко многому обязывающее понятие. Как подчеркивается в сравнительно недавнем, подготовленном в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР проспекте 8-го тома «Истории всемирной литературы» (том посвящен как раз советской литературе 1917—1945 гг.), принцип историзма требует «строного и взвешенного подхода к движению литературы во времени, ко всем изменениям, которые происходят в ней на разных исторических этапах».

Чрезвычайно важно, на мой взгляд, уже в самом способе изложения, в основной его тональности избегать двух внешне противоположных, но одинаково «облегченных» крайностей, уводящих из русла объективности.

Одна крайность — сплошь мажорно-оптимистическая интонация, когда все «принимается» в историческом прошлом, всему находится оправдание и объяснение, все излагается с пафосом как непрерывная цепь мудрых шагов и достижений, а если уж очень нужно где-то сделать оговорку относительно допущенных некогда ошибок и искривлений, то предпочтительнее сказать об этом цитатой-формулой из какого-нибудь официально-документа, ни в коем случае не пускаясь в рассуждения «от себя» и не нарушая общего пафосного тона. В современных дискус-

сиях недаром подчеркивается, что одной из бед нашей литературы и литературной критики был принцип гипертрофированной нормативности. С полемическим заострением В. Воздвиженский пишет, что «эстетика принимала на себя чужеродную функцию, смыкалась с цензурой. Литературная критика становилась своего рода эстетическим обеспечением цензуры» («Вопросы литературы», 1987, № 9, с. 65).

Другая крайность — чрезмерное критическое «умничание задним числом», односторонние «попреки прошлому» — только с точки зрения сегодняшнего момента, сегодняшнего нашего знания о прошлом; при таком подходе недостаточно учитывается, что само прошлое творилось когда-то впервые, творилось первооткрывателями.

В упомянутом проспекте Института мировой литературы делается акцент на *поисковом* характере советской литературы, на том, что она с самого начала развивалась в поисках новых путей художественного отражения еще только складывающихся форм жизни.

Также по отношению к карельской литературе необходимо объективное представление о сложности, противоречивости, драматизме этого процесса — на карельском материале, с карельской спецификой.

Конечно, карельская литература должна рассматриваться в контексте общесоюзного, а отчасти и общемирового литературного процесса. Контекст этот может быть весьма разноаспектным, в том числе историко-типологическим. Карельская литература исторически относительно молодая, причем в СССР и в мире много молодых литератур, обнаруживающих типологические сходства с нею — либо по условиям развития, либо по использованию прошлых художественных (например, фольклорных) традиций и опыта более зрелых литератур, либо по некоторым особенностям жанрообразования и т. д.

Рассмотрение «малой литературы» в широком контексте ни в коем случае не должно приводить к искусственному преувеличению ее удельного веса, к завышению эстетических оценок. Ничего, кроме вреда, такое завышение не принесет. Читательского интереса к излагаемому это не прибавит — скорее интерес можно пробудить как раз проблемностью рассмотрения, раскрытием «малой литературы» как исторического явления, без искусственных попыток непременно вознести ее на небывалые художественные высоты.

Для историка проблема возникает уже при определении, что же такое «карельская литература», особенно если употреблять это понятие с эпитетом «национальная».

В прошлом (чаще всего и в наиболее резкой форме в устных дискуссиях) высказывались весьма разные и даже взаимоисключающие взгляды, например: 1) национальная литература Карелии существует и развивается на двух языках — финском и русском; 2) национальная литература — это только литература на финском и отчасти на карельском языке; 3) национально-карельской в строгом смысле слова следует считать только творчество писателей-карелов, а в еще более узком значении даже оно (на финском языке) не может называться литературой карельского народа.

Различие мнений объясняется тем, что при

определении, что такое «карельская» литература, исходят из разных принципов:

1) Территориального (писатель живет и печатается в Карелии, следовательно, он — карельский).

2) Тематического (писатель пишет о Карелии).

3) Этнического (писатель родом карел, но писать может по-фински или по-русски).

4) Строго языкового (пишет или должен писать только на карельском языке).

Вдобавок ко всему языковой принцип соотносится не только с писателем-творцом, но и с читательской средой. Советская финноязычная литература создавалась с самого начала для двух главных регионов: Карелии и Ингерманландии (причем количество национального населения в обоих регионах до войны было примерно одинаковым — около 160 тысяч карелов и 140 тысяч ингерманландцев). Временный переход в 1938—1940 годы на карельский литературный язык сказался и на читательской среде.

Есть еще и другие, более сложные компоненты-признаки национальной литературы, например: единство культурных (в том числе фольклорных) традиций, из которых она возникает, внутренняя преемственность и целостность уже собственного литературного развития — здесь подразумеваются свойства и связи преимущественно чисто художественного порядка, позволяющие говорить о данной литературе как национально-эстетической целостности, об ее истории как об истории целостного национально-художественного сознания.

Совмещение всех перечисленных признаков-компонентов в отношении карельской литературы для более или менее *однозначного* определения ее национальной основы оказывается весьма непростым делом.

4

Хочу высказать и рассмотреть затем подробнее в целях предварительного обсуждения следующий тезис: хотя на всех этапах развития литературы Карелии на финском и карельском языках бесспорно проявлялись тенденции к ее оформлению как национальной литературы, все же по своему национальному субстрату она довольно-таки аморфна и неоднородна (или гетерогенна, как выражаются по-ученому). В ней и сейчас сохраняется известная национальная «недооформленность», объясняемая сложностями национально-исторического развития, причем и на будущее перспектива остается весьма неопределенной.

Попытаюсь пообстоятельнее пояснить, что имеется в виду. Для этого придется коснуться не только проблем литературного развития, но и национально-языковой эволюции. Начиная с самого раннего этапа, с 20—30-х годов, в советской финноязычной литературе были представлены разные национально-этнические ветви: 1) авторы коренной карельской национальности; 2) авторы из ингерманландской среды; 3) авторы из числа финляндских эмигрантов. Все эти три ветви в чем-то различались между собой, у представителей каждой из них были свои тематические пристрастия, свои в чем-то отличавшиеся социально-этнические, культурные, диалектно-языковые традиции. В процессе тесного общения всех этих литераторов началось их идей-

но-творческое и организационное сближение, была поставлена общая задача создания *финноязычной советской литературы*.

С точки зрения ее полной реализации это была задача долговременная, требующая длительного и устойчивого национального развития. Ленинская национальная политика открывала такую перспективу. В 20-е годы и в Карелии и в Ингерманландии началась довольно бурная национально-культурная деятельность в общем русле осуществлявшейся тогда партией культурной революции. Ожинилось культурно-языковое развитие проживающих здесь малых народностей — карелов, вепсов, финнов. Наряду с этим шло освоение русского языка как средства межнационального общения в масштабах всей страны, то есть начиналось движение к двуязычию (билингвизму). Но это был естественный процесс, не в ущерб развитию национальных языков разных народностей и их культуры. В Карелии и Ингерманландии возникли национальные школы и учебные заведения, создавались очаги культуры и периодическая печать, начали выходить первые литературные журналы, издаваться первые книги. В итоге расширялась и сфера применения национальных языков, оформлялась читательская среда и национальная интеллигенция — во всем тогда наблюдалась тенденция к пробуждению, росту, дальнейшему развитию. Я еще вернусь к тому, как запечатлелась эта эпоха в памяти ее непосредственных свидетелей, в художественной литературе, в том числе в произведениях ныне еще здравствующих карельских писателей.

Между тем бурное начало национально-культурного строительства вскоре столкнулось, помимо объективных трудностей, с препятствиями непредвиденными и крайне пагубными. Они были связаны с беззаконием периода культа личности. Укажу лишь на некоторые факты, как они проявились в ингерманландской и карельской среде. Еще в период массовой коллективизации и раскулачивания, в 1929—1931 годы, весьма значительная часть ингерманландского населения (в иных деревнях до трети жителей) оказалась выселенной и рассеянной по отдаленным территориям страны (Сибирь, Средняя Азия, Кольский полуостров). Затем принудительное выселение коснулось жителей пограничных с Финляндией районов. Уже совсем по другим причинам географическое расселение ингерманландцев было усугублено войной, временной немецко-фашистской оккупацией. Люди страдали от голода, уходили в Эстонию, откуда их вывозили в Финляндию и использовали как рабочую силу. А после окончания войны и с торжеством великой Победы, уже по совершенно непостижимым причинам, для всех ингерманландцев поголовно был введен жестко ограничивающий режим прописки и проживания. Не только прежним «раскулаченным» и репрессированным, но только тем десяткам тысяч людей, которые во время войны не по своей вине были вывезены в Финляндию и затем в конце 1944 года добровольно репатрировались (по некоторым сведениям, их было более пятидесяти тысяч), но и всем остальным ингерманландцам не разрешалось селиться в родных деревнях, а только в отведенных местах (Псковской и некоторых других областях).

Исключение делалось, кажется, лишь для инвалидов войны и их семей.

Этот режим соблюдался довольно строго, и если люди уезжали, например, в ту же Эстонию, их поначалу выселяли; по собственному горькому опыту знаю, что в ту пору даже в ленинградских гостиницах нельзя было прописаться на несколько дней без особого разрешения милиции. Словом, ингерманландцы тогда разделили печальную участь калмыков, чеченцев, балкарцев и некоторых других народностей, оказавшихся жертвами сталинского произвола именно как народности.

Начиная с 1956 года, когда ограничивающий режим проживания утратил силу, часть ингерманландцев стала постепенно возвращаться в родные места (около 16000 человек к настоящему времени). Это и количественно немного, к тому же коренным образом изменились условия: от прежней этнической кучности заселения, от прежних ингерманландских деревень как целостных, хотя и небольших этнических коллективов-микросоциумов уже нет и следа. При длительном отсутствии школьного образования на национальном языке (оно было прекращено в 1937 году и больше в Ленинградской области уже не восстанавливалось), без местных газет и культурных центров почти полностью угасло и национально-языковое общение, особенно на уровне современной культурной жизни. Религиозные люди встречаются в лютеранской церкви, чуть ли не единственным пункте национально-языкового общения. В настоящее время выдвигается идея создания общества ингерманландской культуры. Что касается родного языка и его сохранности ингерманландцами, нынешними жителями Ленинградской области, то даже у энтузиастов особых надежд на этот счет уже нет.

В Карелии школьное преподавание на финском языке, хотя и с довольно длительными перерывами, периодически возобновлялось, но основа его суживалась и качество снижалось. Постепенно все острее стала ощущаться нехватка квалифицированных преподавателей, да и учащихся.

Все это было проявлением и результатом ускорения ассимиляционных процессов, которые охватили не только Карелию. В масштабе страны они с определенного момента официально приветствовались и всячески форсировались не только крутыми практическими мерами, но и доводами лингвистической науки.

Примером тогдашних научно-теоретических попыток обосновать форсирование ассимиляционных процессов может служить так называемое «новое учение о языке» академика Н. Я. Марра, разрабатывавшееся им в 20-е и в начале 30-х годов (он умер в 1934 г.). Одна из основных его идей заключалась в утверждении, что общемировая языковая эволюция всегда шла и будет все более ускоренным темпом идти в направлении от множества к единству — Марр изображал это графически в виде пирамиды с широким основанием и суживающимися к вершине-точке сторонами. Э. Свадост, автор книги «Как возникнет всеобщий язык?» (М., 1968), даже считает, что идея скорейшего достижения всеобщего и единого языка была для Марра главной, ей подчинена вся концепция универсального глоттогонического (языкотворческого)

процесса. Уже применительно к далекому историческому прошлому Марр недостаточно учитывал, что наряду с интеграционными процессами протекали и процессы дифференциации языков. С этим были связаны его острые разногласия со сторонниками более традиционной теории «праязыков», допускавшими движение от единства к множеству. Сам Марр был крупным ученым, но и он впадал в чрезмерную прямолинейность, которая у менее образованных и добропорядочных последователей становилась попросту невыносимой. Когда я в свое время по студенческой наивности возразил университетскому лектору-марристу, что ведь, по Фр. Энгельсу и Л. Моргану, племена могли разветвляться и расселяться, следовательно, разветвлялись и множились также племенные языки, ответом было, что, дескать, «буржуазные ученые всегда цепляются» за это положение Энгельса и «не следует идти по их следам».

Что касается современного общества, то сам Марр слишком прямолинейно связывал языковую интеграцию с интеграцией общественно-экономической. Он, например, утверждал: «Как человечество от кустарных разобщенных хозяйств и форм общности идет к одному общему мировому хозяйству и одной общей мировой общности в линии творческих усилий трудовых масс, так и язык от первичного многообразия гигантскими шагами продвигается к единому мировому языку». И еще: «Цель ясна — единство будущего человечества как в речи, так и в хозяйстве».

Цель эта представлялась Марру уже довольно близкой, требующей практических шагов, научно проработанных «искусственных мер». Как ученого-марксиста, его торопила в общественно-политическом смысле и тогдашняя установка на скорую мировую революцию и победу социализма в глобальном масштабе.

А непосредственно в политическом языке эпохи, прежде всего в выступлениях Сталина по национальному вопросу, наряду с формулой о расцвете наций при социализме весьма употребительной стала формула о «слиянии наций» как желательной и близкой перспективе. Впоследствии, в 1950 году, Сталин выступил с критикой лингвистической теории Марра, однако на идею всеобщего языка критика не распространялась. Любопытно, что сам Марр, как считает Э. Свадост, еще в начале 30-х годов осознавал близость и даже совпадение формулировки Сталина о всемирном слиянии наций и языков с собственными взглядами.

Наверное, здесь уместно и даже необходимо напомнить, что сколько существует человечество, люди всегда мечтали о взаимопонимании, в том числе об общем языке. Эта мечта лежит уже в основе древнего мифа о вавилонском столпотворении. Еще Платон говорил, что боги облагодетельствовали бы человечество, даровав ему общий язык. На протяжении двух с лишним тысячелетий об общем языке мечтали крупнейшие философы, ученые, писатели, шли споры о том, какой это должен быть язык — естественный развившийся в процессе общения народов или искусственно созданный; вспомогательный ли, функционирующий наряду с национальными языками, или же основной, заменяющий национальные языки; возможен ли всеобщий язык уже в скором времени или же это дело весьма отдаленного будущего. В разные века создава-

лись и предлагались всевозможные языки-проекты, счет которым ведется на сотни, причем многие авторы-энтузиасты посвятили им целую жизнь.

По своей огромности задача, конечно, фантастическая, в реальных очертаниях трудно-обозримая уже хотя бы потому, что в сегодняшнем мире превеликое множество живых языков. Причем абсолютное их большинство принадлежит малым, зачастую отсталым народам, многие из которых, однако же, пробуждаются и выходят на историческую арену. Недавно мне довелось просмотреть в финском лингвистическом журнале рецензию-реферат на вышедшее в США справочное издание «Статистические данные о языках мира на 1985 год». По данным автора, в мире сегодня около 2800 языков (он оговаривает, что в зависимости от методов подсчета общее их число сильно колеблется у разных исследователей, причем многое определяется тем, как отличать самостоятельный язык от диалекта; некоторые допускают, что в мире 12000 языков). Так вот, согласно указанному изданию, первые десять из наиболее распространенных языков являются родными для более половины населения мира, но зато на двух тысячах языков говорит всего лишь сотая часть человечества, то есть это почти сплошь языки малых народностей. Множество бесписьменных языков на глазах угасает, другие становятся литературными языками, получая современное развитие. Понятие «малый», «большой» с современной точки зрения относительны, а с исторической точки зрения непостоянны. Приведу лишь один поразивший меня пример. Автор, по происхождению венгр, сообщает, что в XVI веке английский язык по распространенности оставался еще на одинаковом уровне с венгерским, на каждом из них говорило приблизительно по четыре миллиона человек, а на сегодня соответствующие цифры: 415 миллионов и 14 миллионов.

5

В. И. Ленин был чрезвычайно чутким и «архистрогим» в национальном вопросе, считая, что это «мировой вопрос, без преувеличения мировой» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 53, с. 190). И исходил он из неразрывного единства двух принципов: полного равноправия всех наций и последовательного интернационализма. В статье «Рабочий класс и национальный вопрос» (1913 г.) Ленин писал: «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству! — вот принципы рабочей демократии». Статья заканчивалась словами: «Старому миру, миру национального угнетения, национальной грызни или национального обособления, рабочие противопоставляют новый мир единства трудящихся всех наций, в которых нет места ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения человека человеком» (т. 23, с. 150-151).

Последовательно ленинское понимание национального вопроса исключает произвольное «подхлестывание» истории, тем более насильственными методами, которые вошли в практику в 30-е годы. Ведь и незаконно репрессированные писатели в Карелии и других республиках обвинялись чаще всего в «национализме», проявлением которого объявлялось

само существование национальных школ, национальной периодики и т. д. К чему подобные извращения привели в ряде национальных республик, в ряде наших литератур, об этом сегодня говорится открыто в советской печати. В частности, Л. Теракопян в «Литературной газете» (27. 4. 1988) указывает на тревожные явления, которые еще недавно пытались скрыть под общей формулой «расцвета». В национальных литературах есть действительные достижения, но речь сейчас о другом, о преемственности. Автор статьи пишет: «Да, мы справедливо утверждаем, что калмыцкая литература сегодня достаточно представлена творчеством Давида Кугультинова. Прекрасно, но кто за ним? Да, мы говорим, что башкирская литература завоевала всесоюзный авторитет поэзией Мустая Карима. Но кто подхватит эстафету?.. Культура лишь тогда живет полнокровной гармоничной жизнью, когда у нее есть капитальный запас прочности, когда она непрерывно пополняется и обновляется, получает свежие притоки, мужает в естественном соревновании направлений и талантов. Однако откуда же они придут, эти таланты, если не только в городских, но и в сельских школах перестает звучать родная речь? И ведь были предупреждения, были... Разве не потускнела проза и поэзия Удмуртии с уходом Геннадия Красильникова и Флора Васильева? Разве не стих резонанс марийской лирики, после того как не стало ее молодого лидера Валентина Колумба? Тут бы и встревожиться, сделать выводы. А нет, не встревожились...»

«Расцвет? Но как сочетать с ним прозябание театров в целом ряде союзных и автономных республик? Полуустые залы, скатывание к поверхностной этнографии, второстепенным комедиям и мелодрамам, чуть ли не к развлекательному — с песнями и плясками — репертуару. Лишь бы не прогореть, лишь бы приваждать публику. И как совместить с представлением о расцвете головотяпскую практику сокращения радио- и телепередач на родном языке? Во имя чего это делается?»

Прошу извинить за длинную цитату, но, положа руку на сердце, разве это и не о Карелии написано, не о положении дел и у нас?

В истории карельской литературы еще 1937-й год означал по существу временную остановку ее естественного развития. Была внезапно нарушена, прервана преемственность национально-культурного процесса. Образовался искусственный разрыв, потом были еще другие просчеты, и последствия этого стали ощущаться с определенного момента все острее.

Недавно газета «Ленинская правда» (10.X.1987) напечатала письмо И. Диева, карела по национальности, в котором он пишет: «Я как раз принадлежу к тому поколению карелов, которое не может прочесть «Калевалу» в оригинале... В 1957 году пошел я в третий класс, начали мы учить финский язык, но уже через месяц или два пришел приказ об отмене этого предмета... Сколько же за это время выросло людей, не знающих родного языка! Я — ладно, я хоть говорить могу по-карельски, а дети мои, чистокровные карелы, слышат карельскую речь только летом у бабушки, что уж тут говорить о сохранности культуры и традиций у карелов!»

Объективность заставляет и литературове-

дов обратить внимание на тот неоспоримый факт, что практически в течение жизни одного поколения, за 40—50 лет, в карельской и ингерманландской этнической среде произошли весьма ускоренные и необратимые ассимиляционные процессы. Если в 20—30-е годы внутри ингерманландской деревни-социума общались только на родном диалекте, а большинство жителей вообще еще не владело русским языком, то сейчас по существу уже не остается людей, для которых их родной диалект или литературный финский язык был бы повседневным языком. Даже в быту, в семейном общении преобладает русский (очень много как раз значат дети, которые учатся в русской школе и с которыми и родители привыкают общаться по-русски). О карельской среде не берусь судить с такой же уверенностью; доводится слышать, что там, где еще сохранились деревни именно как этнические социумы, с преобладающим карельским населением, родной язык (диалект) отчасти еще функционирует в быту, но функция и сфера его применения продолжает сужаться.

Возникла новая национально-языковая ситуация, в корне отличающаяся от ситуации 20—30-х годов; сама этническая среда в Карелии и Ингерманландии уже почти не питает литературный (финский) язык, а последний в свою очередь не имеет обратного влияния на этническую среду, не контактирует с нею сколько-нибудь ощутимо.

В 1987 году на страницах журнала «Пуналиппу» состоялся обмен мнениями о состоянии нашего финского литературного языка, и указанная ситуация так или иначе констатировалась выступающими как основная причина, влияющая на качество самого литературного языка. Отмечалось, что он теряет естественность, гибкость, самобытность. Влияние русского языка настолько сильно, что финский язык нашей печати начинает напоминать «переводный язык». (Лишь одна из приводившихся характерных деталей: переводчики книг некоторых наших финноязычных прозаиков отмечают, что переводить эти книги на русский язык сравнительно легко, ибо фразы в них зачастую построены по типу русского синтаксиса).

6

В трудах по многонациональной советской литературе часто высказывается справедливая мысль, что национальное в литературе не сводится только к традиционно-архаическому как к чему-то застывшему и неизменному. В условиях развивающегося советского общества национальное тоже развивается и видоизменяется.

В качестве общей закономерности это верно. Но указанная языковая ситуация и нынешняя ступень ассимиляционных процессов в Карелии вносят в общую закономерность существенные коррективы, которые требуют объективного рассмотрения на материале самой карельской литературы.

Остановлюсь на довольно известном в нашей литературе явлении. В послевоенные десятилетия из северной Карелии, из карельской этнической среды вышел ряд финноязычных прозаиков и поэтов (Н. Яскола, А. Тимонен, Я. Ругоев, П. Пертту, Н. Лайне, О. Степанов) с характерной тягой к избира-

жению национально-карельской народной жизни, но и с не менее характерным *ретроспективным историческим уклоном*. Они описывали именно северно-карельскую деревню периода революции и 20—30-х годов. Конечно, исторические и историко-революционные романы, повести, поэмы писались во многих национальных литературах. Но у названных писателей-карелов интерес к указанному периоду имел еще свою особую причину. Это была северно-карельская деревня времени их детства и юности, непосредственная их родина, причем в их памяти она осталась устойчивым символом еще относительно полнокровной национально-карельской народной жизни.

Изображаемая ими карельская деревня была тогда на важном историческом переломе: она уже бурно вовлекалась в новые социальные процессы и интернациональные связи, но в то же время оставалась еще относительно целостным карельско-этническим миром. Оттуда, из «деревни детства» шли потом наиболее ощутимо национально-народные импульсы, питавшие творчество и самое национальное сознание этих писателей. Послевоенная критика, помнится, не раз и в весьма резкой форме обвиняла их в криминальном «взгляде вспять». Зато теперь многое оценивается уже иначе. В последнее время интерес к истории, к культурному прошлому все более нарастает, наша советская критика весьма настойчиво пишет о теме исторической памяти в современной литературе — памяти национально-культурной, народно-нравственной, социально-ценностной. В карельской литературе, особенно в творчестве Я. Ругоева, но не только его, тема исторической памяти стала сочетаться в 60—70-е годы с впервые открыто зазвучавшей тогда темой затухания и исчезновения многих карельских деревень. И понятно, что для писателей это была не только аграрно-экономическая и социальная проблема, но и национально-языковая и национально-культурная.

Конкретизирую сказанное на примере Я. Ругоева, тем более что лет десять тому назад он сам довольно подробно рассказал в одном из интервью, что значили и продолжают значить для его творчества ранние впечатления от народной жизни в северной Карелии 20—30-х годов. Он выразил сожаление, что современные поколения недостаточно знают о ней, в лучшем случае она для них — история, тогда как для него это — «живое прошлое», кладовая памяти, питательная почва для творчества. В интервью писатель рассказывал о жизни в Ухте (ныне поселок Калевала), культурном центре северной Карелии. Там была тогда средняя школа-интернат с преподаванием на финском языке и почти с тысячей учащихся; были национальные хоры и оркестры, несколько народных театров, литературное объединение с рукописным журналом, местное радиовещание. Автор отмечает, что еще до революции в крае стала распространяться грамотность, и это облегчило последующее культурное строительство уже в советский период. Перечислив карельских писателей, которые в своем творчестве обращались к той «эпохе энтузиазма», Я. Ругоев продолжал: «То время запечатлелось и во многих моих произведениях, и могу сказать, что в творческом отношении оно для меня неисчерпаемо, как бы не имеет

конца. Надеюсь, в дальнейшем к нему еще будут обращаться новые авторы. И это вовсе не какое-то бегство от современности, а скорее напротив... Конечно, нам надо постоянно думать о будущем. Но если мы не будем помнить о прошлых наших трудах и успехах, изначальной цели наших стараний и борьбы, от этого прежде всего пострадает связь между поколениями, историческая и культурная преемственность».

Выше я говорил о произвольно допущенном в свое время разрыве в преемственности. Писатель пытается этот разрыв заполнить и преодолеть, напоминая о том, что в сопоставлении с 20—30-м годами не все теперь заслуживает именоваться непременным расцветом. Тогда еще не было достаточной материальной базы для просвещения и культуры, народ и будущие писатели только учились грамоте, зарождавшаяся литература и искусство были менее профессиональны. Но при всем этом ощущалась настоящая жажда национально-культурного строительства, был энтузиазм. Теперь вроде бы и база есть, но одолевают иные заботы. В профессиональном финском театре все меньше зрителей понимает язык, да и для актеров новых поколений язык стал серьезной проблемой. В национальном художественном ансамбле «Кантеле» почти совсем не остается исполнителей из коренной карельской национальности, а ведь песню и танец данного народа надо чувствовать народным же нутром, исполнение не безотносительно к национальной психологии. У нас есть филиал консерватории, но положение с национальной музыкой мало кого радует. Наконец, есть солидный по объему и полиграфическому исполнению литературно-художественный журнал «Пуналишту», но не хватает карельских авторов и читателей. В республике, в том числе среди творческой интеллигенции, почти совсем нет людей, для которых финский язык являлся бы основным языком, а ведь без этого условия (конечно же, не единственного) серьезное профессиональное творчество вряд ли возможно.

Разумеется, карельские писатели изображают и современную жизнь, однако выявить, выделить и художественно выразить ее современную национальную суть, целостную национальную основу для них уже значительно труднее, чем применительно к «деревне детства». Труднее услышать живую народную речь, причем чтобы звучала она из уст представителей самых разных поколений, не только стариков, но и молодых, вплоть до лепечущего младенца на коленях у юной матери. Ведь писателю так важно обогащаться впечатлениями жизни, прислушиваться к беседам людей, присутствовать при рождении живого слова, этого великого человеческого дара. А когда в реальной жизни возможности ограничены, писателю поневоле приходится в своих книгах как-то «оживлять» язык, прибегать к вынужденным способам «реанимации» и «искусственного дыхания». Тема сама по себе может быть архисовременной, сюжет в меру занимательным, но как только дело доходит до диалогов и внутренних монологов героев, трудно избавиться от мысли, что ведь в жизни-то они думают и говорят скорее по-русски, а не по-карельски или по-фински. Выходит, «ретроспективность» писательского взгляда имеет

еще и свои художественно-стилевые нюансы. Также с этой точки зрения у писателя является искушение писать о периоде, когда жизнь языка в народной среде была еще полнокровнее, когда национально-языковое развитие шло по восходящей.

А нынешнюю, менее отрадную тенденцию можно ли переломить? Можно ли заполнить разрыв?

Именно Я. Ругоев горячо убежден, что если не все, то многое во власти человеческой, надо только по-настоящему захотеть перемен и немедленно приниматься за дело. В первую очередь необходим психологический перелом. Чего греха таить, очень уж мы примирились с положением, даже филологи, имеющие дело с изучением карельского языка, чаще говорят обычно не об активизации его жизни, а о том, чтобы собирать для архивов его остатки, пока они окончательно не исчезли.

Справедливости ради следует подчеркнуть, что Я. Ругоев думает иначе. Для него и опыт 20—30-х годов — это прежде всего достоверный исторический пример и свидетельство того, что национально-языковое развитие по восходящей было возможно, было реальностью. А что если вместо слезливой или равнодушной примиренности направить усилия к тому, чтобы попытаться возродить у новых поколений любовь к полузабытому родному языку, к истории и культуре своего народа? Людям ведь полезно знать, кто они и откуда они, помнить об историческом древе.

Между прочим, те наши литераторы и ученые, которые в июне 1987 года присутствовали на большом празднике вепсской культуры в селе Винница Ленинградской области, рассказывали с волнением о драматических сценах, о людях со слезами радости на глазах. Собрались вместе жители вепсских деревень и горожане вепсских корней из разных областей и районов. Иные из них по обстоятельствам жизни уже настолько отвыкли от звучания родного языка и, возможно, даже по паспорту давно числятся русскими, что только атмосфера праздника и помогла им по-настоящему вспомнить, что они все-таки вепсы. И в осознании этого нет ничего плохого.

С вепсским языком и культурой действительно много упущено и запущено. Ассимиляционный процесс среди вепсов был весьма интенсивным. По переписи 1926 года их числилось еще 32 тысячи человек, а к настоящему времени осталось около 8,5 тысячи, из них на территории Карельской АССР более пяти тысяч. Исследовательница вепсской культуры З. И. Строгальщикова провела опрос среди вепсского населения Карелии, Ленинградской и Вологодской областей (всего было опрошено 756 человек) на предмет выявления общественного мнения, нужно ли возобновлять обучение вепсскому языку в школах, как это было в 30-е годы. В районной газете «Коммунист Прионежья» (3.12.1987) исследовательница сообщает о результатах опроса: утвердительно на вопрос ответила примерно треть опрошенных; другая треть отстранилась от ответа под предлогом типа «пусть начальство решает»; остальные 40% отнеслись к идее отрицательно, с недоверием, полагая, что «уже поздно, ничего не ис-

правишь», «все равно вепсский отомрет», «нет письменности, нет учителей», «езде нужен русский язык». Небольшая группа энтузиастов, в их числе Р. Лонин, в порядке опыта все же пробует давать уроки вепсского языка в Шелтозерской средней школе, надеясь и на пробуждение интереса у учеников, и на поддержку общественности.

Во всем мире, не только в СССР, в последние годы наблюдается повышение интереса к национальным языкам и культурам, в том числе малых народностей. Появляются всевозможные «фольклорные группы», тяготеющие к народной музыке, песням, танцам. Например, в Финляндии этим увлекаются и дети, и взрослые, и пенсионеры. В городе Каяни в течение длительного времени проводились ежегодные фольклорные праздники. В 1980 году мне довелось быть на Аландских островах, и там группы местных жителей, уже немолодых мужчин и женщин, с удовольствием исполняли народные мелодии финляндских шведов. В США прошла в свое время волна «кантри-мюзик», на мировую сцену через радио и телевидение вышло искусство народов Африки, Азии, Латинской Америки, и это же относится к литературе.

Все больше людей осознает, что обилие культур и языков в мире — это огромное богатство, а вовсе не «помеха» прогрессу и не признак «отставания» всемирной истории. Еще великий гуманист Гумбольдт был одним из тех, кто прекрасно понимал это почти двести лет назад. В 1802 году он писал: «Язык, и не только язык вообще, но каждый язык в отдельности, даже самый бедный и грубый, сам по себе и для себя есть предмет, заслуживающий самого пристального

осмысления... Разные языки — это отнюдь не различные обозначения одной и той же вещи, а различные видения ее... Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действительных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия. Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа, поэтому в нем не следует бояться ни изощренности, ни избытка фантазии, которые кое-кто считает нежелательными. То, что они дают нам сразу, есть полная, чистая и простая человеческая природа; если же мы проникаем в глубины их тайн, в нашу сухую рассудочность врывается свежая струя неувядающей фантазии других народов, заключающих каждое впечатление, которое юный мир дарит их еще не притупившимся чувствам, в оболочку живого и подвижного образа» (В. фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М., 1985, с. 348-349).

Не случайно в последнее время наряду с задачами укрепления интернационального братства советских народов, развития двуязычия в нашей печати выдвигается и задача самосохранения национальных языков и культур.

Современным людям, народам, нациям ни к чему замыкаться в местном патриотизме, тем более неуместен в нашем советском обществе националистический эгоизм. Однако же и чувство безродности и «мирового сиротства» по-своему ущербно и таит в себе опасность. Многоцветье и гармония привлекательнее унылой глобальной унификации.

Главный редактор **Д. Я. ГУСАРОВ**

Редакционная коллегия: **Э. Л. АЛТО, Ю. И. ДЮЖЕВ, Н. К. ЖЕРНАКОВ, Н. А. ЖУРАВЛЕВ, В. П. КРЫЛОВ, О. Д. ЛЕОНОВ, П. Р. ЛЕОНТЬЕВ, О. И. МИШИН, С. А. ПАНКРАТОВ, Р. Г. ПЕЛЛЯ, И. К. РОГОЩЕНКОВ, А. А. РОМАНОВ, В. В. СЕРГИН, А. П. СУРЖКО (отв. секретарь), В. Л. ТИМОФЕЕВ, О. Н. ТИХОНОВ (зам. гл. редактора), В. Л. ШИРИКОВ, Г. А. ЮШКОВ.**

Техн. редактор **В. Н. Куринная.**

Корректор **Е. М. Николаева.**

Рукописи объемом меньше авторского листа не возвращаются.

Адрес редакции: 185670, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 13. Телефоны: 7-47-36 (гл. редактор), 7-47-37 (зам. гл. ред., отдел критики); 7-94-94 (отв. секретарь, отдел прозы), 7-48-05 (отделы публицистики и поэзии).

Сдано в набор 10.08.88. Подписано к печати 07.09.88. Е-00423. Формат 70×90^{1/16}. Печать высокая. Усл.печ. л. 10,5+0,7 вкл. Усл. кр.-отт. 12,91. Уч.-изд. л. 14,83 + уч.-изд. л. вкл. 0,83. Тираж 20000. Заказ 2497. Изд. № 118. Цена 65 коп.

Издательство «Карелия», 185610, Петрозаводск, пл. Ленина, 1
Республиканская ордена «Знак Почета» типография им. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 185630, Петрозаводск, ул. «Правды», 4.